

IV

«Херсонский помещик»: другое пространство в *Мертвых душах* Гоголя

Владислав Кривонос

Поволжская государственная социально-гуманитарная академия
Самара, Россия

В предлагаемой статье механизм порождения гетеротопии у Гоголя рассматривается в связи с особенностями пространственного мышления центрального героя *Мертвых душ*; такой подход продиктован не внешним заданием, а самим художественным устройством поэмы, которое только и может само «свидетельствовать о своих свойствах» (Скафтымов 1994: 140).

Излагая Собакевичу цель своего визита, Чичиков «выразился очень осторожно: никак не назвал душ умершими, а только несуществующими»; в ответ на прямой вопрос Собакевича он «опять смягчил выражение, прибавивши: “несуществующих”» (Гоголь 1951: 101). Герой будто лишь подменяет одно слово другим, но эта подмена весьма показательна и для его речевого поведения, и для сюжета поэмы, который «построен, в сущности, на идее Чичикова подменить живые крепостные души “несуществующими”» (Гольденберг 2007: 89).

Ход сюжетных событий заставляет всех тех, с кем Чичиков свел знакомство, задуматься, каков же статус и род занятий приехавшего в город N. «нового лица» (Гоголь 1951: 18) – и есть ли у него *лицо*. А. Белый определил его явление в первой главе так: «эпиталама безличию» (Белый 1996: 95). Но похвала безличию – только ли в первой главе слышится эта ироническая авторская песнь? Чиновники города N., уже после того, как герой накопил себе душ, «припомнили, что они еще не знают, кто таков на самом деле есть Чичиков, что он сам весьма неясно отзывался насчет собственного лица» (Гоголь 1951: 195). Безличие (отсутствие *собственного лица*) и позволяет приписать ему самые разные черты и принять его то за миллионщика, а то и за делателя фальшивых ассигнаций, за сбежавшего разбойника или за капитана

Копейкина, предводителя шайки разбойников, наконец, даже за переодетого Наполеона.

С. Г. Бочаров писал о гоголевском мире как мире двойников по «сходству признаков разной степени важности» (Бочаров 1985: 149), причем признаков весьма неустойчивых, что порождает разного рода смысловые недоразумения и приводит к сюжетно-нарративной путанице. В случае с Чичиковым дело осложняется тем, что его персональными признаками служат неопределенность и неясность; все попытки персонажей окружить его двойниками терпят неудачу, поскольку сходство с ними всякий раз оказывается ложным и мнимым, возрастает лишь степень абсурдности предположений и версий, «что такое Чичиков» (Гоголь 1951: 196). Обозначенные признаки сопутствуют Чичикову с самого его появления на свет, особым образом (биографически и сюжетно-генетически) соединяя героя, сознательно темнившего *насчет собственного лица*, с пришедшей ему в голову идеей обогащения:

Темно и скромно происхождение нашего героя. Родители были дворяне, но столбовые или личные – Бог ведает. Лицом он на них не походил: по крайней мере, родственница, бывшая при его рождении, низенькая, коротенькая женщина, которых обыкновенно называют пиголицами, взявши в руки ребенка, вскрикнула: «Совсем вышел не такой, как я думала! Ему бы следовало пойти в бабку с матерней стороны, что было бы и лучше, а он родился, просто, как говорит пословица: ни в мать, ни в отца, а в проезжего молодца» (Гоголь 1951: 224).

Осенившая Чичикова «мысль» ретроспективно вплетается в темную историю его происхождения, темную прежде всего потому, что похож он почему-то оказался не на своих родителей, а на *проезжего молодца*; мифологический сюжет подмены ребенка, подсвечивающий реплику родственницы, мутирует в «странный сюжет» (Гоголь 1951: 240) подмены живых мертвыми. Манилова Чичиков благодарит за услугу, оказанную ему, «человеку без племени и роду» (Гоголь 1951: 36). Такова его самоидентификация, подчеркивающая одиночество героя, бессемейного и безродного. В мире Гоголя «отщепенец от рода» (Белый 1996: 57), вроде колдуна из *Страшной мести*, наделен свойствами оборотня. То, что Чичиков похож на неведомо кого, а не на ближайших родичей, хоть и не делает его отщепенцем, отторгнутым ими, и тем более мифологическим оборотнем, но предугадывает способность казаться и выглядеть именно таким, «каким он показался всему городу, Манилову и другим людям» (Гоголь 1951: 243).

Безличие героя, не просто *человека без племени и роду*, но и без сущности, связывает его особым образом со сферой несуществующего. Можно было бы сказать, учитывая характер его деятельности, что он и сам, подчинившись злу, «существует в несуществующем» (Лосский 1991: 305), если бы деятельность эта не порождала вопросы, чем собственно отличается существующее от несуществующего, и где пролегает граница между ними, если дело идет не о состоянии как таковом, а о его наименовании.

Говоря о своем желании «приобрести мертвых, которые, впрочем, значились бы по ревизии, как живые», Чичиков предлагает Манилову уступить ему «не живых

в действительности, но живых относительно законной формы» (Гоголь 1951: 34). Коробочку он убеждает, «что перевод или покупка будет значиться только на бумаге и души будут прописаны как бы живые» (Гоголь 1951: 51). А Плюшкину объясняет, что «мы совершим на них купчую крепость, как бы они были живые и как бы вы их мне продали» (Гоголь 1951: 123). Чичиков напирает на *объективно* сложившуюся ситуацию, когда мертвые все еще числятся «на бумаге» живыми и потому могут быть если не буквально отождествлены с живыми, то уподоблены им, что и подчеркивает частица ‘как бы’. Уподобительная частица, фиксируя хоть и относительное, но значимое для сделки сходство между не живыми и живыми, мотивирует видимую законность приобретения. Поскольку умерших позволено в соответствии с «законной формой» назвать живыми, то смерть как событие лишается смысла: если купчая совершена, то смерти *как бы* не было – и выходит, что ее не было «в действительности».

Та же логика названия, уравнивающая существующее (действительно существующее) и несуществующее (но как бы существующее), лежит и в основе самого плана приобретения мертвых, задуманного Чичиковым:

Правда, без земли нельзя ни купить, ни заложить. Да ведь я куплю на вывод, на вывод; теперь земли в Таврической и Херсонской губерниях отдаются даром, только заселяй. Туда я их всех и переселю! в Херсонскую их! пусть их там живут! А переселение можно сделать законным образом, как следует по судам. <...> Деревню можно назвать Чичикова слободка, или по имени, данному при крещении: сельцо Павловское (Гоголь 1951: 240).

Чичиков собирается «законным образом» переселить купленных им как бы живых крестьян в Херсонскую губернию, где он обзаведется не самой землей, а только названием будто бы принадлежащей ему деревни. Ведь «относительно законной формы» существует то, что имеет название, поэтому если назвать деревню «Чичикова слободка», то Чичикова можно будет считать ее владельцем. Он дает несуществующей деревне название, а название удостоверяет факт ее принадлежности Чичикову. Такого рода «фокусы фабулы» отражают и выражают «двусмыслицу» заглавия поэмы, «вполне неопределенного» (Белый 1996: 118).

Чичиков стремится превратить неопределенное в определенное, несуществующее – в существующее. Законы, перед которыми он «привык ни в чем не отступать» (Гоголь 1951: 35), видятся ему относительными, а реальность, подчиняющаяся таким законам, кажется релятивной; поэтому задуманное им приобретение предполагает не «отсутствие пустот» (Пумпянский 2000: 587) в законах, а их наличие, причем пустот не только в законах, но и в самой реальности. Используя пустоты в законах, можно заселять пустоты в реальности теми, кто «в действительности» не существует – такова продуцируемая планом Чичикова грандиозная картина доминирующей и всеохватной пустоты. В этой картине мира определенное тождественно фиктивному, а существующее – мнимому.

Погружаясь «в бездну относительной действительности», в пустоту, «не наполнимую ничем» (Пумпянский 2000: 587), Чичиков всякий раз создает нечто адекватное

этой бездне и этой пустоте: версию автобиографии, изложенную «какими-то общими местами», из которой нельзя понять, кто он и чем занимается, разве что «испытал много на веку своем» (Гоголь 1951: 13); нужные ему для сделки бумаги, основанные на подмене, и др. Так, купив крестьян, он решился «сочинить крепости, написать и переписать», для чего требовалось знание «форменного порядка» (Гоголь 1951: 135), ему хорошо известного. Сочинение крепостей носит рутинный характер и сводится к их составлению и письменному оформлению, а не к выдумыванию чего-то, что не соответствовало бы их содержанию; другой вопрос, что содержание крепостей, составляемых Чичиковым, является фиктивным, не соответствующим действительности.

Ноздрев, уличенный Чичиковым в нечестной игре в шашки, называет его *сочинителем* («Да ты, брат, как я вижу, сочинитель!»), то есть лгуном, хотя Чичиков «все ходы считал» и потому возвращает Ноздреву обвинение во вранье: «Нет, брат, это, кажется, ты сочинитель, да только неудачно» (Гоголь 1951: 85). Чичиков, как это он сам себе представляет, вообще не имеет привычки врать: объявив Ноздреву, «что мертвые души нужны ему для приобретения весу в обществе», он «сам заметил, что придумал не очень ловко», но именно *придумал*, а «не солгал» (Гоголь 1951: 78).

Замещая реальность вымыслом, Чичиков действительно демонстрирует способность сочинять, только сочиняет он, в отличие от Ноздрева, не небылицы, построенные на бессмыслице, а хоть и придуманные, но до невероятности правдоподобные истории, вроде биографий купленных им мужиков: «Смотря долго на имена их, он умилился духом и, вздохнувши, произнес: “Батюшки мои, сколько вас здесь напичкано! что вы, сердечные мои, подделывали на веку своем? как перебивались?”» (Гоголь 1951: 136). Чичиков пусть и ругает себя «дураком» за то, что «загородил околесину», а не «дело делал» (Гоголь 1951: 139), но не в состоянии уклониться от порывов вдохновения, связанных с сочинительством, ни теперь, ни тогда, когда его «осенила вдохновеннейшая мысль» закупить «всех этих, которые вымерли» (Гоголь 1951: 239–240).

Придумывая биографии мужиков, Чичиков хоть и не обливался слезами над вымыслом, но все же *умилился духом*; после совершения купчей он вдруг «стал читать Собакевичу послание в стихах Вертера к Шарлотте» (Гоголь 1951: 152), обнаружив если не склонность, то все же некоторую причастность к поэтическому творчеству. А на балу у губернатора странным своим поведением, которое «он сам не мог себе объяснить», дал повод автору заметить: «Видно, так уж бывает на свете, видно, и Чичиковы, на несколько минут в жизни, обращаются в поэтов; но слово поэт будет уже слишком» (Гоголь 1951: 169). Чичиков обращается не в поэта, а в подобие поэта: он не поэт «в действительности», но как бы поэт, способный превратить окружающую его действительность в текст собственного сочинения, то есть в некую «новую действительность» (Лотман 1996: 26). В этой новой действительности, именуемой им, как и реальная географическая территория, Херсонской губернией, находится место и для Чичиковой слободки, и для переселяемых мужиков.

По своему устройству *чичиковская* действительность представляет собою подобие заколдованного места. Стоит ему мысленно ступить на это место, как *несуществующие* крестьяне облакаются в плоть и кровь, а сам он оборачивается помещиком, будто владеющим живыми душами. Сочинительство героя порождает представление о реальности как о многослойном пространстве, принимающем форму палимпсеста. Выдуманное пространство словно накладывается *поверх* пространства географического, а географическое пространство проступает в пространстве выдуманном, вступая с ним в алогичное соединение. Свободно перемещаясь в своем воображении между обозначенными пространствами, Чичиков представляет себя то почти настоящим помещиком, то как бы помещиком, обладателем то почти настоящих, то не совсем настоящих душ; но граница между разными пространствами остается для него не относительной, но безусловной, что демонстрирует сцена торга с Собакевичем:

«Но позвольте», сказал наконец Чичиков, изумленный таким обильным наводнением речей, которым, казалось, и конца не было: «зачем вы исчисляете все их качества, ведь в них толку теперь нет никакого, ведь это всё народ мертвый. Мертвым телом хоть забор подпирай, говорит пословица».

«Да, конечно, мертвые», сказал Собакевич, как бы одумавшись и припомнив, что они в самом деле были уже мертвые, а потом прибавил: «впрочем, и то сказать: что из этих людей, которые числятся теперь живущими? Что это за люди? мухи, а не люди».

«Да всё же они существуют, а это ведь мечта».

«Ну нет, не мечта! Я вам доложу, каков был Михеев, так вы таких людей не сыщете: машиница такая, что в эту комнату не войдет: нет, это не мечта!» (Гоголь 1951: 103).

Спор торгующихся носит как будто чисто схоластический характер и выглядит спором о словах, но словах для поэмы ключевых. Для Собакевича умершие, коли они превосходят уже по одним физическим качествам тех, кто числится живущими, отнюдь *не мечта*. Если Михеев *был* таким, каких теперь не сыскать, то замены ему по-прежнему *нет*: он *был* таким – таким он и является. Для Чичикова же мертвые принадлежат небытию – и только небытию: они могут быть как бы живыми, живыми «на бумаге», но в реальности граница между *несуществующими* и существующими, зыбкая для Собакевича, остается для него непроницаемой. Потому ему и кажется, что между ним и Собакевичем, разыгрывающим вполне понятную в ситуации торга роль, но слишком в нее вжившимся, «происходит какое-то театральное представление, или комедия» (Гоголь 1951: 103).

Автор, характеризуя Чичикова, полагает, что справедливее всего назвать его «хозяин, приобретатель» (Гоголь 1951: 241). Между тем «странный сюжет», который «составился» в его «голове» (Гоголь 1951: 240) и требует совершения дел «*не очень чистых*» (Гоголь 1951: 242), к приобретению *несуществующих* душ не сводится. Прибегая всякий раз к сочинительству, чтобы выдать мертвых за живых, Чичиков ведет себя не только как их «приобретатель», но и как «хозяин» небытия.

На *чичиковскую* действительность распространяются присущие пространству в *Мертвых душах* признаки онтологической мнимости и неопределенности

(Кривонос 2012: 49), причем не просто распространяются, но усиливаются. Если гоголевский Петербург (что в *Петербургских повестях*, что в *Повести о капитане Копейкине*) являет собою «радикальное отрицание референтности» (Ямпольский 2007: 288), то Чичикова слободка, привязанная к конкретной территории, референтность, казалось бы, только подчеркивает, но референтность фиктивную, поскольку ни с какой географической реальностью *слободка* эта, будучи не местом, а названием, не соотносится. Подобно крестьянам, приобретаемым Чичиковым, она тоже принадлежит к сфере несуществующего.

На вопрос председателя палаты, «в какие места» переселяет он купленных мужиков, герой, автоматически повторяя услышанные слова, отвечает со знаменательной запинкой – знаменательной потому, что таковые *места* отсутствуют, как отсутствуют и сами переселяемые:

«В места... в Херсонскую губернию».

«О, там отличные земли, не заселено только», сказал председатель и отозвался с большою похвалою насчет рослости тамошних трав. «А земли в достаточном количестве?»

«В достаточном, столько, сколько нужно для купленных крестьян»

«Река или пруд?»

«Река. Впрочем, и пруд есть». Сказав это, Чичиков взглянул ненароком на Собакевича, и хотя Собакевич был по-прежнему неподвижен, но ему казалось, будто бы было написано на лице его: «Ой, врешь ты! вряд ли есть река и пруд, да и вся земля!» (Гоголь 1951: 147–148).

Чичиков не врет (для *купленных крестьян* земли ведь и в самом деле *столько, сколько нужно*), а по обыкновению придумывает. Называние места служит актом творения новой действительности, где *земля, река и пруд*, ни к каким конкретным земле, реке, пруду не отсылающие, существуют не как некие реальности, а как их наименования: ‘земля’, ‘река’, ‘пруд’. Все они *есть*, как *есть* и переселяемые мужики, но все они *есть* в небытии, которое Чичиков описывает посредством признаков, относящихся к бытию. Так отсутствующее, наделяемое не относящимися к нему признаками, оказывается в наличии; возникает характерная для гоголевского письма онтологическая путаница, приводящая к «своеобразному “стиранию” граней бытия-небытия, явного-мнимого» (Миронюк 1998: 142). По мере развития «херсонского» сюжета эта путаница только нарастает.

После совершения купчей чиновники выпили «за здоровье нового херсонского помещика» и «за благоденствие крестьян его и счастливое их переселение» (Гоголь 1951: 151). А Чичиков, развеселившись, «воображал себя уже настоящим херсонским помещиком», так что «Селифану даже были даны кое-какие хозяйственные приказания собрать всех вновь переселившихся мужиков, чтобы сделать всем лично поголовную переключку», после чего он «заснул решительно херсонским помещиком» (Гоголь 1951: 152). Называя Чичикова «херсонским помещиком», чиновники верят, что он и есть «херсонский помещик»: именование соответствует его новому статусу, приобретенному вместе с переселяемыми крестьянами.

Чичиков, зная, что он не настоящий «херсонский помещик», тем не менее воображает себя таковым – и с таковым себя отождествляет. Но не только потому, что находится в веселом состоянии.

Как, «может быть, в сем же самом Чичикове страсть, его влекущая, уже не от него» (Гоголь 1951: 242), о чем он и не догадывается, так в выборе пространства для переселения мертвых выражается смысл, скрытый от героя, но важный для автора, который, по ироническому его замечанию, должен «тащиться» за героем, поскольку «здесь он полный хозяин», туда, «куда ему вздумается» (Гоголь 1951: 241). Вот автор и «тащится» за Чичиковым, позволяя ему вообразить себя «хозяином» и небытия, и связанного с небытием *странного сюжета*, превратившего героя в «херсонского помещика».

Чичиков покупает мужиков на вывод, для переселения в Новороссию, так как подобное переселение, с предоставлением помещикам значительных льгот, поощрялось правительством (Смирнова-Чикина 1974: 132). *Несуществующих* крестьян ему действительно было «легче перевезти с собой через пол-Европы» на «недавно колонизованные земли Херсонской губернии» (Эткинд 2013: 26–27), для чего надо было только оформить бумаги *законным образом*. Тут Чичиков, с его *практическим* умом, рассчитал все точно, а позднейшие комментаторы подкрепили его расчеты ссылками на документы эпохи. Таким образом, маршрут переселения получает историко-географическую и историко-психологическую мотивировку, что, существенно для понимания чичиковского плана, если рассматривать его в контексте исторического времени. Но выбор героем конечной точки переселения не объясняет, какое место автор отвел Херсонской губернии (не как географической территории, а как порожденной чичиковским планом пространственной фикции) в пространственно-символической конфигурации поэмы.

Свое отношение к чичиковской аванюре автор выражает разными средствами, в том числе и посредством комической обработки идей «греческого проекта» Екатерины II, предусматривавшего присоединение Крыма, с которым «Россия получала свою долю античного наследства» и возвращалась туда, где «брало начало русское христианство» (Зорин 2001: 100), принятое в древнем Херсонесе, в память о котором был назван вновь построенный Херсон.

Так, имена сыновей Манилова – старшего из них, носившего «отчасти греческое имя» (Гоголь 1951: 30) Фемистоклос, и младшего, названного, как и Геракл при рождении, Алкидом, – характеризуют своих носителей как пародийных наследников греческой античности (Кривонос 2012: 106–116). А в гостиниой Собакевича Чичиков видит карикатурные портреты греческих полководцев, которые «были с такими толстыми ляжками и неслыханными усами, что дрожь проходила по телу» (Гоголь 1951: 95). В качестве живописного казуса портреты соотносятся не с их историческими моделями, чей облик утрируется до гротеска, а с картиной в гостинице, где остановился Чичикова, на которой «изображена была нимфа с такими огромными грудями, каких читатель, верно, никогда не видывал (Гоголь 1951: 9).

Что касается Херсонской губернии, то она, если вспомнить об эдемской семантике Крыма, ставшего после приобретения его Россией «прообразом грядущего земного рая» (Зорин 2001: 114), предстает у Гоголя травестированным «райским» пространством. В *Мертвых душах*, как было отмечено, травестируемая «тема рая» возникает «в “величаниях” Чичикова губернатору», а также «Манилову, мечтающему жить под одной крышей с другом» (Гольденберг 2007: 55). В случае с Херсонской губернией дело идет не просто об ином масштабе травестирования, затрагивающего структуру образа мира в поэме, но и об иной его цели, не ограничиваемой ироническим снижением предмета повествования.

В городских прениях «иные» задавались вопросом, «каково будет крестьянам Чичикова без воды? Реки ведь нет никакой» (Гоголь 1951: 154). Сам герой, утверждая в разговоре с председателем палаты, что река есть, вряд ли предполагает (наряду с рекой он называет еще и пруд), что речь идет о значимом атрибуте земного рая (Аверинцев 2006: 376). Ср.: «Из Едема выходила река для орошения рая...» (Быт. 2: 10). В мифологической топографии пространства, предназначенного для переселения крестьян, реалии, вызывающие столь знаменательные ассоциации, случайными для автора, однако, не были.

В *Вечерах на хуторе близ Диканьки*, где пространству Крыма приписываются аркадийные и эсхатологические черты, актуализируется мифологема «Аркадии как места, в котором уже побывала смерть» (Дмитриева 2008: 111). Свойства аркадийного и эсхатологического пространства совмещает в себе и образ Херсонской губернии, где мужикам Чичикова, завершившим один цикл существования, предстоит начать другой, о чем сразу пошли толки и разговоры в городе: «<...> они теперь негодяи, а, переселившись на новую землю, вдруг могут сделаться отличными подданными» (Гоголь 1951: 155). Возможная метаморфоза переселяемых зависит, согласно приведенному рассуждению, исключительно от места переселения – там, как в раю, если перевести высказанное мнение на язык христианских представлений, «самая природа человека и его бытие “в воскресении” радикально переменятся» (Аверинцев 2006: 375). Но преобразование *негодяев*, очутившихся на новой земле, окруженной «райскими» коннотациями, может произойти только по образцу воскресения мертвых, ставших благодаря изобретательности Чичикова как бы живыми.

Фиктивность «земного рая», локализованного в Херсонской губернии, соответствует фиктивному статусу «херсонского помещика», как со смехом обращается к Чичикову на балу у губернатора Ноздрев («А, херсонский помещик, херсонский помещик!»), горлая, что «он торгует мертвыми душами» (Гоголь 1951: 171–172). Чичиков после столкновения с Ноздревым испытывает досаду, «что случилось ему оборваться» и что он «сыграл какую-то странную, двусмысленную роль» (Гоголь 1951: 175), роль собственного комического двойника, только усиливающую производимое героем и зафиксированное автором впечатление безличности и неопределенности. *Оборвался* же вместе с «херсонским помещиком» и «херсонский» сюжет, так удачно разворачивавшийся.

На опасения тех, кто указывал ему на «трудность переселения такого огромного количества крестьян», Чичиков отвечал, что «купленные им крестьяне отменно смиренного характера, чувствуют сами добровольное расположение к переселению и что бунта ни в каком случае между ними быть не может» (Гоголь 1951: 156). Характер крестьян уподобляет их тем «кротким», уповающим на Господа, которые «наследуют землю и наслаждаются множеством мира» (Пс. 36: 11). Ср.: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» (Мат. 5: 5). Понятно, какую землю наследуют смиренные мужики, коли они, как напоминает Чичиков Собакевичу, *мечта*. Но означает ли «добровольное расположение к переселению» только проявление «отменно смиренного характера»?

Значимой параллелью к рассуждению Чичикова может послужить эпизод из *Чистилища* (Песнь двадцать первая), когда у одной из душ внезапно пробуждается «свободное желанье лучшей доли» (Данте 1967: 316). У Данте, согласно убедительной интерпретации этого эпизода, «воля синонимична желанию»; человек может уклониться «в тот или иной грех», поддавшись «не “абсолютному” желанию», но «когда его “абсолютное” желание освобождено и действует, оно влечет и его к своему для него месту – т. е. к раю» (Седакова 2009).

В *Мертвых душах* дантовская традиция преломляется как иронически, путем соответствующих «замещений и подстановок» (Манн 1996: 437), так и серьезно, посредством текстуальных переключек и образных аналогий, раскрывающих гоголевскую «философию души» (Смирнова 1987: 133–134). Влечение *несуществующих* душ к чичиковскому «раю», проявляемое в их *добровольном расположении* к переселению, также осмысливается автором в серьезно-ироническом ключе: никакому желанию поддаться они не могут – ни «не абсолютному», ни «абсолютному»; *своего* места в символическом пространстве поэмы у них нет.

Имея значение «мифологическое и вместе с тем геополитическое», крымское пространство, по мнению исследователя, «возникает» в первом цикле Гоголя и здесь же «исчерпывается» (Дмитриева 2008: 108). Скорее, можно говорить об исчерпанности крымского мифа, каким воспринимал его автор романтических *Вечеров*, но не крымского пространства, семантический потенциал которого особым образом реализовался в сюжетно-нарративной структуре *Мертвых душ*. Оно представало здесь поистине как *другое* пространство, отличное от всех иных изображенных типов пространства – этнического, географического или поэтико-символического (см.: Кривонос 2012: 44–61), но вступающее с ними в смысловое взаимодействие, что порождает множество пересекающихся смыслов в пространственно-символической структуре гоголевской поэмы.

ЛИТЕРАТУРА

- АВЕРИНЦЕВ, С. С., 2006. *Собр. соч. София-Логос. Словарь*. Киев: Дух і Літера.
- БЕЛЫЙ, А., 1996. *Мастерство Гоголя*. Москва: МАЛП.
- БОЧАРОВ, С. Г., 1985. *О художественных мирах*. Москва: Сов. Россия.
- ГОГОЛЬ, Н. В., 1951. *Полн. собр. соч.* Т. 6. [Москва; Ленинград]: Изд-во АН СССР.
- ГОЛЬДЕНБЕРГ, А. Х., 2007. *Архетипы в поэтике Н. В. Гоголя*. Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена».
- ДАНТЕ, А., 1967. *Новая Жизнь. Божественная Комедия*, пер. с ит. Москва: Художественная литература.
- ДМИТРИЕВА, Е. Е., 2008. Крым как мифологическое и геополитическое пространство у Гоголя. *Ин: Крымский текст в русской культуре*. Санкт-Петербург: ИРЛИ РАН, 99–112.
- ЗОРИН, А. Л., 2001. *Кормя двуглавого орла... Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII – первой трети XIX века*. Москва: Новое литературное обозрение.
- КРИВОНОС, В. Ш., 2012. «Мертвые души» Гоголя: *Пространство смысла*. Самара: ПГСГА.
- ЛОССКИЙ, Вл., 1991. Догматическое богословие. *Ин: Мистическое богословие*. Киев: Путь к Истине, 261–335.
- ЛОТМАН, Ю. М., 1988. *В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь*. Москва: Просвещение.
- ЛОТМАН, Ю., 1996. О «реализме» Гоголя. *Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение*, II (Новая серия). Tartu: Tartu University Press, 36–50.
- МАНН, Ю. В., 1996. *Поэтика Гоголя. Вариации к теме*. Москва: Coda.
- МИРОНЮК, Л., 1998. Негационная стилистика русского языка (К постановке проблемы). *Studia Rossica Poznaniensia*, XXVIII. Poznań: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 137–145.
- ПУМПЯНСКИЙ, Л. В., 2000. *Классическая традиция. Собр. трудов по истории русской литературы*. Москва: Языки русской культуры.
- СЕДАКОВА, О. А., 2009. Земной рай в Божественной комедии Данте: о природе поэзии. *Ин: СЕДАКОВА, О. А. Апология разума*. Москва: МГИУ. Режим доступа: <http://www.intelros.ru/subject/figures/olga-sedakova/15163-zemnoy-ray-v-bozhestvennoy-komedii-dante-o-prirode-poezii.html> [см. 2 12 2013].
- СКАФТЫМОВ, А. П., 1994. К вопросу о соотношении теоретического и исторического рассмотрения в истории литературы (1923). Послесл. и примеч. Г. В. Макаровской. *Ин: Русская литературная критика*. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 134–159.
- СМИРНОВА, Е. А., 1987. *Поэма Гоголя «Мертвые души»*. Ленинград: Наука.
- СМИРНОВА-ЧИКИНА, Е. С., 1974. *Поэма Н. В. Гоголя «Мертвые души»*. Комментарии, 2-е изд., испр. Ленинград: Просвещение.
- ЭТКИНД, А., 2013. *Внутренняя колонизация. Имперский опыт России*. Москва: Новое литературное обозрение.
- ЯМПОЛЬСКИЙ, М. 2007. *Ткач и визионер: Очерки истории репрезентации, или О материальном и идеальном в культуре*. Москва: Новое литературное обозрение.